



1930.

14 [апреля] вечер. Это страшный год — 30-й. Я хотел с января начать писание дневника, но не хотелось писать о несчастьях, все ждал счастливого дня, — и вот заболела Мура, сначала нога, потом глаз, — и вот моя мука с Колхозией, и вот запрещены мои детские книги, и вот бешеная волокита с Жактом — так и не выбралось счастливой минуты, а сейчас позвонила Тагер: Маяковский застрелился. Вот и дождался счастья. Один в квартире, хожу и плачу и говорю «Милый Владимир Владимирович», и мне вспоминается тот «Маякоуский», который был мне так близок — на одну секунду, но был, — который был влюблен в дочку Шехтеля (чеховского архитектора), ходил со мною к Полякову; которому я, как дурак, «покровительствовал»; который играл в крокет, как на бильярде, с влюбленной в него Шурой Богданович; который добивался, чтобы Дорошевич позволил ему написать свой портрет и жил на мансарде высочайшего дома, и мы с ним ходили на крышу, и он влюбился в Марию Борисовну, и я ревновал, и выбегал, как дурак, с биноклем на пляж глядеть, где они прячутся в кустах, и как он влюбился в Лили, и приехал, привез мое пальто, и лечил зубы у доктора Доброго, и говорил Лили Брик «целую ваше боди и все в этом роде», и ходил на мои лекции в желтой кофте, и шел своим путем, плюя на нас, и вместо «милый Владимир Владимирович» я уже говорю, не замечая: «Берегите, сволочи, писателей»; в последний раз он встретил меня в Столешниковом переулке, обнял за талию, ходил по переулку, как по коридору, позвал к себе — а потом не захотел (очевидно) со мной видаться — видно, под чьим-то влиянием: я позвонил, что не могу быть у него, он обещал назначить другое число и не назначил, и как я любил его стихи, чуя в них, в глубинах, за внешним, и глубины, и лирику, и вообще большую духовную жизнь... Боже мой, не будет мне счастья — не будет передышки на минуту; казалось, что он у меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, «возобновим» и я скажу ему, как

он мне свят и почему, — и мне кажется, что как писатель он уже все сказал, он был из тех, которые говорят в литературе ОГРОМНОЕ слово, но ОДНО, — и зачем такому великану было жить среди тех мелких «хозяйчиков», которые поперли вслед за ним, — я в своих первых статьях о нем всегда чувствовал, что он трагичен, безумный, самоубийца по призванию, но я думал, что это — насквозь литература (как было у Кукольника, у Леонида Андреева), — и вот литература стала правдой: по-другому зазвучат его

Скажите сестрам Люде и Оле,  
Что ей уже некуда деться\*<sup>1</sup>.

И вообще все его катастрофические стихи той эпохи — и стихи Есенину — о, перед смертью как ясно он видел все, что сейчас делается у его гроба, всю эту кутерьму; он знал, что будет говорить Ефим Зозуля, как будут покупать ему венки, он видел Лидина, Полонского, Шкловского, Брика — всех.

Позвонила Вера Георгиевна. Лили Брик, оказывается, за границей.

22/IV. Еду в трамвае. Вижу близорукими глазами фигурку, очень печальную, — и по печальной походке узнаю, вернее, угадываю — Зощенко. Я соскочил с трамвая (у Бассейной), пошел к нему. Сложное, мутное, замученное выражение лица. Небритые щеки — усталые глаза. — «Плохо мне». — «Что такое?» — «С театром... столько неприятностей. Актеры ничего не понимают... Косой пол делают. (В голосе тоска)... Звали меня сегодня в Большой драматический, чтобы я почитал им своего „Товарища“, я обещал, не спал из-за этого всю ночь и кончил тем, что по телефону отказался... Хотя они все собрались». Очень удручен. Я стал говорить ему, что он самый счастливый в СССР человек, что его любят и знают миллионы людей, что талант его дошел до необыкновенной зрелости, что не дальше чем сегодня я читал вслух его «Сирень» — и мы хохотали до слез. Это его приободрило, он пошел провожать меня в ГИЗ — и особенно обрадовался, когда я случайно по другому поводу сказал ему, что Гоголя тоже ругали — именуя его вещи «малороссийскими жартами». Давно я не видал его в такой мизантропии. Он говорит, что видеть никого не может, что

<sup>1</sup> Здесь и далее звездочкой отмечены слова и предложения, комментарии к которым помещены в конце книги. — *Ред.*

Стенич ему надоел, но что без людей он тоже не может. Я сказал ему, чтобы он поехал в Сестрорецк и кончил бы там свою повесть «Мишель Тинягин»\*, которую он сейчас пишет. Он с испугом: «Я там и дня без людей не проживу. Мелькают, мне легче». О Маяковском: Зоценко видел его после провала «Бани» в *Народном доме*. Маяковский был угрюм, растерян, подавлен. «Никогда его таким не видел. Я сказал ему: „Вы всегда такой победительный“. Он стал жаловаться на импотенцию (!), на горло — и сам был очень жалкий, потный (!)...»

Расставшись с Зоценко, я пошел в ГИЗ. Долго говорил с Камегуловым, который мне очень понравился. Простой, искренний, весь на ладони, молодой.

Вышла моя книга «Рассказы о Некрасове». Я не рад, о нет — напротив. Она пошатнет мою редактуру Некрасова. Чует мое сердце беду. В ГИЗе упорно говорили, что покончил с собой Осип Мандельштам.

В ГИЗе я встретил Мишу Слонимского — в «Звезде». «Звезда» приятна тем, что в ней еще сохранился какой-то божественный дух. Вис. Саянов не сидит на одном месте, за редакторским столом, а бегаёт по комнате, присаживаясь с каждым новым сотрудником на новое место, то на подоконник, то на край стола. Стульев вообще мало, и сидеть на столах — обычай. Всегда есть три-четыре ненужных человека, поэты, которые тут же читают друг другу стишки. Пальто вешаются на ручки дверей, на телефонные штепсели. Во всех остальных комнатах ГИЗа — кладбищенский порядок, дисциплина мертвецкой, а здесь еще кусок литературной жизни. Слонимский рассказывал, что Зоценко весь свой советский язык почерпнул (кроме фронта) в коммунальной квартире Дома Искусств, где Слонимский и Зоценко остались жить, после того как Дом Искусств был ликвидирован. И вот он так впитал в себя этот язык, что никаким другим писать уже не может.

О Маяковском Слонимский вспомнил, как в декабре 20 года Гумилев нарочно устроил в одном из помещений Дома Искусств спиритический сеанс, чтобы ослабить интерес к Маяковскому.

7 мая. Про Муру. Мне даже дико писать эти строки: у Муры уже пропал левый глаз, а правый — едва ли спасется. Ножка ее, кажется, тоже погибла. Марья Бор. вчера сказала: теперь вся моя мечта: один глаз. Неделю тому назад она расхоталась бы, если бы ей сказали о столь минимальном желании.

Я ночью читал «Письма» Пушкина — и мне в глаза лезло «слепец Козлов» и т. д. Взял Лермонтова — «Слепец, страданием вдохновенный».

8.V. У меня жестокий насморк, горло болит, боюсь, не заразить бы Муру гриппом.

Как плачет М. Б. — раздирала на себе платье, хватала себя за волосы.

— Другой глаз в полном порядке, — говорит Н. И.

11 мая. Позвонил Тынянов. «Как вы себя чувствуете? Дорогой мой! Завтра еду в Петергоф — на несколько дней, — сейчас хочу к вам». Он пришел изможденный — и целый час посвятил Муре. Подробно вникая в ее болезнь и советуя, советуя, советуя, что делать. Какие ужасы были с ним самим. Оппель хотел вырезать ему надпочечные какие-то штуки: — когда он сказал об этом немецкому профессору, тот вскочил с места и завопил... Рассказывает свои дела: сейчас он идет, чтобы тот попытался через Белецкого снизить ему налог: шесть тысяч заплатить он не в силах. Он уверен, что кем-то указано не сбавлять ему, Тынянову, налога, во что я, признаться, не верю. К счастью, он продал в ГИЗ своего «Кюхлю» (новое изд.) по 225 р. за лист 5000 экз. — в качестве 1-го тома собрания своих сочинений, — все эти деньги и пойдут фининспектору. Перед этим он обратился было к Ионову (месяца 4 назад). Ионов сказал: «Старая книга, издательству нужно бы что-нб. поновее... ну, так и быть, издам, 250 р. за лист, 10 000 экземпляров». — Это грабеж, но я согласился — чтобы заплатить фининспектору... Проходит месяц, два, три — от Ионова нет ответа, — звоню Горлину, ответа нет. Вот каков Ионов!.. Еще яснее он показал себя в истории с пародиями. Дело в том, что год назад Ленигиз навязал мне задачу сделать ему книгу пародий. Я сделал эту книгу, заплатив много денег моему помощнику Рейсеру. Но теперь, под влиянием новых течений, мне сообщают, что ГИЗ передал книгу «Пародий» — в «Academia». Отлично. Иду в «Academia» — получено письмо от Ионова: Тынянов хочет слишком дорого за предисловие (по поводу которого уже есть договор) — дать ему вместо 150 р. — 125 р.!!!

Я ответил, что дарю им предисловие — не беру ни копейки. Ионов поставил и второе условие: не 70 рублей за лист, а 40 (то есть меньше, чем Тынянов заплатил Рейсеру!!). На это я не согласился, и вот книга висит в воздухе\*.

Рассказывал, как вызвали его в «скорую помощь», где лежал при смерти его племянник. Он вызвал к племяннику профессора, но главный врач не допустил профессора. Тынянов сказал: «Я настаиваю». — А вы где служите?

*Тынянов.* — Вот этого я вам и не скажу.

*Врач.* — Ну, тогда в виде исключения разрешаю.

Сейчас вторично позвонил Юрий Николаевич: он уже говорил с Форш, с Саяновым, с Груздевым.

**12 мая.** У меня был грипп. Я уехал и провалялся в Питере. Вечера полегчало, приехал к Муру. За это время у Муры были: Лотин, Медовиков, Меркулова, Вреден...

Вчера мы с Мурой сидели на воздухе — играли в шишки, — и весь этот спорт заключался в том, что она, бедная, скорчившись на носилках, щурясь одним «здоровым» глазом, кидала шишки в коробочку, которая была от нее в двух шагах; потом я заставил ее помахать 40 раз еловой веткой, чтобы согреть ее, — у нее руки ооченели. Читал я ей Шерлока — как нарочно, очень глупые приключения, в зверском переводе.

11 мая был у меня Тынянов — соблазнял за границей, Горьким, новыми лекарствами, внутривенным вливанием. «Поезжайте с Мурой в Берлин! На станции Am Zoo вас, по моей просьбе, встретят Гуль и Совин [нрзб.] — и устроят Муру в санатории — и она поправится быстро, или в Алупку — там д-р Изергин, великодушный старый врач. Санатория его имени. У моей кухни был болен сын — 40,2°, запросили Изергина телеграммой — ответил: привозите — мальчик здоров. Санатория помещается в Алупке-Саре».

Тынянов взбудоражил Саянова, Ольгу Форш, Илью Груздева.

Копылов говорит, что у Муры нога заживает. «Если все пойдет хорошо, мы через две недели снимем гипс — и знатно прогреем твою ногу на солнышке».

21/V. Позвонил Вольпе. Хочет прийти.

23/V. Копылов вторично ставил Муру на ноги.

Вчера вечером пришел Изя. Бледный, полумертвый. Провожал меня в трамвае № 23 к Кате. Уверен, что Лида любит его; хочет, чтобы отношения с Цезарем были прерваны. Говорил откровенно, но главного не объяснил, почему же Лида, любя его, выходит за Цезаря.

От Кати ехал с Цезарем в том же трамвае. Цезарь откровенен вполне. Напуган. Боится всего происшедшего. Показал мне телеграмму от Лиды. Она уже послала телеграмму родителям Вольпе, чтобы отрезать себе все пути отступления, чтобы положить конец «эпохе Изи», и Цезарь получил от них поздравление. Сейчас получил телеграмму от нее.

12, СОЧИ 428,17,22,12, ЛЕНИНГРАД КИРОЧНАЯ 7/6  
 ЧУКОВСКОМУ  
 УМОЛЯЮ ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ПОДРОБНО ЗДОРОВЬЕ  
 МУРЫ БЕСПОКОИТ ОТСУТСТВИЕ ТЕЛЕГРАММЫ  
 БОГДАНОВИЧ И НАЛИЧНЫХ ПИСЕМ ЛИДА

25/V. Мура вчера была в самом веселом настроении: я читал ей Шиллера «Вильгельм Телль», и ее насмешила ремарка: «барон, умирающий в креслах». Читали мы еще «Конька-Горбунка» и начали «Дитя бурь».

28/V. Возвращался с Тыняновым от Ионова. Проводил его.

30/V. Изучаю народничество: читаю Юзова (Каблица), Михайловского, Эртеля и проч., и проч. Обложен со всех сторон «Отечественными записками» 70-х годов.

1/VI. С Лидой опять неладно: в нее влюблены три человека: И., Ц. и Д. Она же любит... Впрочем, об этом не стоит писать, а напишу-ка я лучше о том, что сейчас волнует меня больше всего (после болезни Муры). Я изучил народничество — исследовал скрупулезно писания Николая Успенского, Слепцова, Златовратского, Глеба Успенского — с одной точки: что предлагали эти люди мужику? Как хотели народники спасти свой любимый народ? Идиотскими, сантиментальными, гомеопатическими средствами. Им мерещилось, что до скончания века у мужика должна быть соха — только лакированная — да изба — только с кирпичной трубой и до скончания века мужик должен остаться мужиком — хоть и в плюсовых шароварах. У Михайловского — прогресс заключается в том, чтобы все мы по своему духовному складу становились мужикоподобными. И когда вчитаешься во все это, изучишь от А до Z, только тогда увидишь, что *колхоз* — это единственное спасение России, единственное *разрешение* крестьянского вопроса в стране! Замечательно, что во всей народнической литературе ни одному,

даже самому мудрому из народников, даже Щедрина, даже Чернышевскому — ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически — и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам. Некрасов — ошибался, когда писал:

...нужны не годы —  
Нужны столетья, и кровь, и борьба,  
Чтоб человека создать из раба\*.

Столетий не понадобилось. К 1950 году производительность колхозной деревни повысится вчетверо.

5/VI. С Лидой все в порядке. О Муре пишу отдельно — в другую тетрадку<sup>1</sup>.

Объяснение со Шкловским. Удивительно: он всегда в лицо говорит мне комплименты, называет меня лучшим критиком, восхищается моими статьями, а в печати ругает мерзейше — щиплет мимоходом, презрительно. Я сказал ему об этом. Он объяснил: что он и тогда, и тогда искренен, — и так убедительны были его объяснения, что я поверил ему.

Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Сталиным как историк. В историческом аспекте Сталин как автор колхозов — величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он, кроме колхозов, ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи. Но пожалуйста, не говорите об этом никому. — Почему? — Да знаете, столько прохвостов хвалят его теперь для самозащиты, что, если мы слишком громко начнем восхвалять его, и нас причислят к той же бессовестной группе.

Вообще, он очень предан Советской власти — но из какого-то чувства уважения к ней не хочет афишировать свою преданность.

Я говорил ему, провожая его, как я люблю произведения Ленина.

— Тише, — говорит он. — Неравно кто услышит!

И смеется.

Это мне понятно. Я очень люблю детей, но когда мне говорят: «Ах, вы так любите детей», — я говорю: «Нет, так себе, едва ли».

<sup>1</sup> Записи о болезни Муры сделаны в тетради «Дневник о Муре» и приводятся лишь выборочно.



**Начало июля.** Числа не помню. Пришла в голову мысль: написать книгу под заглавием «Жизнь моя». Очевидно, это — наваждение старости. Вспоминаю такое, чего ни разу не вспоминал за все эти сорок лет. Тумбы у наших ворот. Гранитные. Я стою. Мне года четыре — а все вечером идут из парков, с бульваров с букетами. Я прошу у проходящих:

— Дайте бузочку!

Вдруг какая-то женщина говорит:

— Ах, какой красивый мальчик! Позволь я тебя поцелую!

— Дай три копейки! — говорю я.

Сам я этого эпизода не помню, но рассказывала Маланка.

Какая странная судьба у Маланки! Дворник соседнего дома Савелий — нелепое чучело — показал ей в какой-то шкатулке свои сторублевые облигации. Она поверила, что он богат, и вышла за него замуж. А вскоре оказалось, что это были не облигации, но... объявления о швейных машинах Зингера — такие же красивые и с цифрой сто.

История литературы не по мне. Черт меня дернул заниматься ею! Нельзя на пятом десятке *начать* заниматься историей. Никакое чтение, самое жадное, здесь не поможет!

**Конец июля (19).** Разбирал письма о детях, которые идут ко мне со всего Союза. В год я получаю этих писем не меньше 500. Я стал какая-то «Всесоюзная мамаша», — что бы ни случилось с чьим-нибудь ребенком, сейчас же пишут мне об этом письмо. Дней 7–8 назад сижу я небритый в своей комнате — пыль, мусор, мне стыдно в зеркало на себя поглядеть, — вдруг звонок, являются двое — подтянутые, чудесно одетые с очень культурными лицами — штурман подводной лодки и его товарищ Шевцов. Вытянулись в струнку, и один сказал с сильным украинским акцентом: «мы пришли вас поблагодарить за вашу книгу о детях: вот он не хотел жениться, но прочитал вашу книгу, женился и теперь у него родилась дочь». Тот ни слова не сказал, а только улыбался благодарно... А потом они отдали честь, щелкнули каблуками — и, хотя я приглашал их сесть, ушли. Сегодня два письма: как отучить мальчика двенадцати лет от онанизма, — и второе, не вредно ли трехлетнему ребенку заучивать столько стихов наизусть?

**6 сентября.** Мы в Севастополе. Ехали 3 ночи и 2½ дня. В дороге Муре было очень неудобно. В купе — 5 человек, множество вещей, пыль, грязь, сквозняк. Она простудила спину, т° взлетела

у нее до 39, она стала жаловаться на боль в *другой* ноге, у нее заболело колено больной ноги; мы в линейке повезли ее в гостиницу Курортного распределителя (улица Ленина). Окно, балкон, три кровати, диван — она, бедная, в страшном жару; чуть приехала, оказалось у нее почти 40. Отчего? Отчего? Не знаем. Кинулись в аптеку, заказать иодоформенные свечи — нет нужных для этого специй!!! Мура в полудремоте — лежит у балкона (погода пасмурная) и молчит. Изредка скажет: «Совсем ленинградский шум» (это очень верно, Севастополь шумит трамваями, авто — совсем как Питер). Ты куда, Пип? Бобочка незаменим: привез вещи, сбежал в аптеку, перенес все чемоданы, побежал на базар. У меня всю дорогу продолжался неликвидированный грипп.

7. IX. В Алупке. Ехали из Севастополя с невероятными трудностями. Накануне подрядили авто на 9 час. утра. Мура проснулась с ужасной болью. Температура (с утра!) 39°. Боль такая, что она плачет при малейшем сотрясении пола в гостинице. Как же ее везти?! Утром пошел в «Крым-шофер». Там того, кто обещал мне машину, не было, но был другой сукин сын, который заявил, что машин нет и не будет и что никаких обещаний никто никому не давал. Когда я вернулся в № 11, где мы остановились, боль у Муры дошла до предела. Так болела у нее пятка, что она схватилась за меня горячей рукой и требовала, чтобы я ей рассказывал или читал что-нб., чтобы она могла хоть на миг позабыться; я плел ей все, что приходило в голову, — о Житкове, о Юнгмейстере, о моем «телефоне для безошибочного писания диктовки». Она забывалась, иногда улыбалась даже, но стоило мне на минуту задуматься, она кричала: ну! ну! ну! — и ей казалось, что вся боль из-за моей остановки. Когда выяснилось, что автомобиля нет, мы решили вызвать немедленно хирурга (Матцала?), чтобы снял Муре гипс — и дал бы ей возможность дожидаться парохода. Я побежал к нему, написал ему записку, прося явиться, но в ту минуту, как мы расположились ждать хирурга, мне позвонил Аермарх, что он достал машину.

Машина хорошая, шофер (с золотыми зубами, рябоватый) внушает доверие, привязали сзади огромный наш сундук, уложили вещи. Боба вынес Муру на руках — и начался ее страдальческий путь. Мы трое сели рядом, ее голова у меня на руках, у Бобы — туловище, у М. Б. ее больная ножка. При каждой выбоине, при каждом камушке, при каждом повороте Мура кричала, замирая

от боли, — и ее боль отзывалась в нас троих таким страданием, что теперь эта изумительно прекрасная дорога кажется мне самым от-вратительным местом, в котором я когда-либо был. (И найдутся же идиоты, которые скажут мне: какой ты счастливец, что ты был у Байдарских Ворот, — заметил впоследствии Боба.) Муре было так плохо, что она даже не глянула на море, когда оно открылось у Байдарских Ворот (и для меня оно тоже сразу поблекло). Я старался указать ей виноградные гроздья на виноградниках — это ее несколько не развлекло. Как мы считали по столбам, сколько километров осталось до Алупки. Вот 12, вот 11, вот 6, вот 2. Вот и Алупка-Сара — вниз, вниз, вниз — подъезжаем, впечатление изумительной роскоши, пальмы, море, белизна, чистота! Но... принял нас только канцелярист, «Изергин с депутатией», стали мы ждать Изергина, он распорядился (не глядя) Муру в изолятор (там ее сразу же обрили, вымыли в ванне), о как мучилась бедная М. Б. на пороге — мать, стоящая на пороге операционной, где терзают ее дитя, потом Изергин снял с нее шинку — и обнаружил, что у нее свищи с *двух сторон*. Т. к. нам угрожало остаться без крова, мы с Бобом, не снимая чемоданов — с сундуком, — поехали на той же машине в гостиницу «Россия», где и сняли №.

**11 сентября.** Алупка. Вот и Боба уехал. Последним его изречением было: «Никто еще не доказал, что яйца надо есть непременно с солью». Он вообще полон таких непреложных принципов: «Север лучше юга», «Чай без сахара вкуснее, чем с сахаром», «Пользоваться трамваями нужно лишь в самых исключительных случаях».

Муре по-прежнему худо. Мы привезли ее 7-го к Изергину, и до сих пор температура у нее не спала. Лежит, бедная, безглазая, с обритой головой на сквозняке в пустой комнате и тоскует смертельной тоской. Вчера ей сделали три укола в рану. Изергин полагает, что ее рану дорогой загрязнили. Вчера она мне сказала, что все вышло так, как она и предсказывала в своем дневнике. Собираясь в Алупку, она шутя перечисляла ожидающие ее ужасы, я в шутку записал их, чтобы потом посмеяться над ними, — и вот теперь она говорит, что все эти ужасы осуществились. Это почти так, ибо мы посещаем ее контрабандой, духовной пищи у нее никакой, отношение к ней казарменное, вдобавок у нее болит и вторая нога. М. Б. страдает ужасно.

12. IX. Лежит сиротою, на сквозняке в большой комнате, с зеленым лицом, вся испуганная. Температура почти не снижается. Вчера в 5 час. 38,1. Ей делают по утрам по три укола в рану — чтобы выпустить гной, это так больно, что она при одном воспоминании меняется в лице и плачет. Комната ее выходит дверью на террасу, где лежат больные ребятишки, и она их всех ненавидит, так как они грубы, крикливы, бросают в нее картошкой, и ни один ничего не читал, ни один не знает ни «Кюхли», ни Диккенса.

Крым ей не нравится:

— Понастроили гор, а вот такой решетки построить не могут! — сказала она, получив от Лиды открытку с решеткой Летнего сада.

Аппетита нет. Ест насильно.

Воспитательниц в санатории 18. Все они живут впроголодь — получают так называемый «голодный паек». И естественно, они отсюда бегут. Вообще рабочих рук вдвое меньше, чем надо. Бедная Мура попала в самый развал санатории.

13 сентября. Вчера я был в колхозе, в татарской деревне Кикенеиз, на горе, в 12 км. от Алупки. Поехали мы из Бобровки: зубной врач Ванда Сигизмундовна Дыдзуль, д-р Константин Федорович Попов, кухонный мужик (или поваренок) Федя (член месткома Бобровки) и Тамара в *красной косынке*, педагогичка Бобровки. Бобровка дала нам линейку и лошадь, единственную лошадь, которая у нее осталась (2 автомобиля у них отняли). Назначено было выехать в 7 часов. Выехали в  $\frac{1}{2}$  10-го, т. к. лошадь не возвращалась с базара. Старик Изергин, видя, что я брожу неприкаянный, позвал меня к себе, напоил чаем. Тут подали линейку. Зубной врач Ванда, литвинка, оказалась и поэтессой, и художницей и тараторила без конца на тысячу разных тем. Она рассказала мне, как Тубинститут теснит Изергина. Построили в его костно-санатории целый корпус для *легочных* больных, в то время как давно уже признано, что легочных и костных совместно держать невозможно. Во время голода Изергин все же сохранил свой санаторий, сам ездил за провизией, и когда у него хотели ее реквизировать, говорил: возьмите вот это, это я везу для себя, а этого не троньте, это — для больных детей; во время землетрясения он спас всех детей от катастрофы, и вот теперь новые люди, не знают его работы, смеют говорить, что он корыстный человек, белогвардеец и проч. Это она выпаливала громко и бойко, нарочно донимая этим Попова, про

которого сама же шепнула мне, что он-то и есть враг Изергина. Она против этих поездок в колхоз: «Отрывают нас от работы в санатории, здесь и так не хватает рук, лошадь нужна, чтоб возить больных ребят к морю, лучше бы колхоз завел у себя фельдшерский пункт и т. д. Эти приезды врачей и педагогов в подшефный колхоз вообще похожи на комедию, — говорила она. — Педагоги на глазах у татар воруют виноград, татары говорят: „Ай да шефы!“» и проч. и проч.

Между тем мы забирались в горы все выше, дорога идет зигзагом, становилось прохладно, на вершинах облака, вот и Симеизская кошка (гора, сползающая к морю, как кошка), вот Монах, вон гора Диво, вон гора Верблюд, а мы ползем все выше, среди каменных безлистных гор, — подъехали в сельсовет, там только что переменялся состав, новая секретарша, черноволосая татарка Бодурова (прошедшая в Симферополе 2-хнедельные курсы «по женативу»), *смышленная, веселая девица*, поставила почему-то печать на моем корреспондентском билете и направила меня к бухгалтеру Антону Бобрищеву, блондину, интеллигенту, тоже очень толковому, который сообщил мне следующее:

Колхоз сконструировался 19 ноября 1929 года. Всех хозяйств вошло в него 106 (из них 58 бедняцких, 48 середняцких, батраков), 3 одиночки: учитель, избач, культурник. С кулаками борьба была жестокая, 10% всего населения — политзаключенные (часть из них, впрочем, возвращена, восстановлена в правах). Колхоз разработал много диких земель — и вот в общем теперь у него табаку 27 $\frac{1}{2}$  га, винограду 35 $\frac{1}{2}$  га, сад 15 $\frac{1}{2}$  га, огород 10 га; колхоз завел новую школу, антисейсмическую, оборудовал новую амбулаторию (где еще нет стационара), закрытую столовую — для школы, для очага, для колхозников.

С грустью отметил Бобрищев, что работа в колхозе вялая, что крестьянин для коммуны работает не так энергично, как работал он для себя, что колхозники сами себя обманывают, набирая вдвое больше талонов на обед, чем им нужно, — но тут же указал, что понемногу эти недочеты исправляются. Особенно обидно колхозникам, что они продают кило винограду по 75 коп., а частник сvez ночью тайком свой виноград и продал по 2 с полтиной, но теперь решено привлекать частных к судебной ответственности за нарушение твердых цен — и дело пойдет аккуратнее. Тракторов нет: спекультуры. Также только теперь организованы детясли с 8 марта 1930 года.

Оттуда я пошел в школу. В школе зав — новый, но его помощник, лет 22-х, ярый большевик. Когда в 1924 году похерили арабский алфавит и стали вводить латинские буквы, старики-татары так разъярились, что этому учителю пришлось бежать из деревни. В школе около 110 учеников, охвачены школой почти 100%; учитель этот Аладинов принимал большое участие в раскулачении Кикенеиза; и частенько ему приходилось сидеть в подвале, т. к. ему кулаки писали анонимные письма о том, что он будет убит. Получив три таких письма, он жаловался даже в ГПУ, и, кажется, по почеркам установил личности писавших. Впрочем, он говорит таким ломаным языком, что трудно понять *весь* смысл его рассказов. Мулла тоже раскулачен теперь, работает на Урале. Просветительной работой здесь считается и борьба за оголение тела. Татары, находясь среди такой великолепной природы, оказываются, прячут свое тело от солнца; женщины обматывают бедра платками и летом и зимой носят юбки до пояса [так в оригинале. — *Е. Ч.*], и учителям приходится проповедовать трусики как знамя культуры. Уходя с детьми в экскурсию, подальше от родителей, татарский педагог заставляет детей по возможности тайком обнажиться...

Надвинулись тучи, по горам за клубился туман, стало гриппозно, ангина, и мы погнали нашу клячу вниз — и через 2 часа были в Бобровке. Мурочка плачет от боли в *обеих* ногах. Мне больно видеть ее в таком ужасно угнетенном состоянии. Я пробую ее развлечь, но меня гонят — и мы с М. Б. едем в Алупку, тоскуя.

**14 сентября.** Уже западная часть Алупки покрылась вишневым цветом, и сверкает какое-то стеклышко от невидимого мне (на балконе) восходящего солнца. Синева неба стеклянная, и не верится, чтобы в этих торжественно-белых домах, под кипарисами, в этот рассветный час жили бы те тупомордые, хамоватые, бездарные люди, которые заполняют пляжи и столовые. Какое счастье идти по берегу в Симеиз — вдыхать запах теплого терпкого моря, как мила здесь каждая тропа под ногой.

Вчера Муре было лучше: утром 36,9, вечером 37,3. Она повеселела чуть-чуть. Но Леонид Николаевич (доктор ее корпуса) предполагает, что она больна нефритом: у нее и спина болит, и моча подозрительная. Кроме того, на голове у нее делается какой-то нарост, а вторая нога продолжает болеть.

**17 сентября.** Мы тратим в гостинице безумные деньги и через 2 месяца станем банкротами. Поэтому я решил поселиться в санатории, а для этого надо было обратиться в Курупр, который находится в Ялте. Решили с М. Б. отправиться в Ялту. Дорога зеркальная, шофер — артист, подхватили в Кореизе девочку-татарку и помчались мимо Гаспры, мимо Ливадии — в Ялту. М. Б. была в Ялте 27 лет назад, когда Федоров целовал ее ноги, а Панебратцев охранял ее сон, и ее страшно волнует возвращение былого. Ялта мне показалась отвратной. Пошлые домишки, мелкие людишки, архитектура ничтожная, набережная надоедает в первый же миг. Все в архитектуре дробно, суетливо, лживо, нелепо — вроде тех ракушечных коробок, которые изготавливает здесь «артель ракушечников». Все это, должно быть, выкупалось обилием плодов земных, груш, винограду, яблок, но теперешний рынок — сплошная мизерня, сидят торговки с двумя помидорами и ждут, когда их прогонят. Мы купили колбасы, 2 кило винограду — и пошли в культурную чайную. Тут, на горе, я встретил Симона Дрейдена, и он увлек меня купаться, вследствие чего мы разминулись с М. Б., которая пошла в парикмахерскую. Купаться на грязном пляже было весело, так как волна выше моего роста колотит кулаками и сбивает с ног.

**19 сентября.** Вчера Мурочка показала мне бледнее обычного. Заметно, что левый глаз меньше правого (значит, асимметрия головы обеспечена); лечащий врач Леонид Николаевич Добролюбов сказал мне мимоходом (как о постороннем предмете, не могущем меня волновать), что у Муры, кажется, туберкулез почек, что он послал в лабораторию ее мочу — поискать там коховских палочек — и что, если будет нужно, они вырежут ей пораженную почку (и вообще «причинят ей целый ряд неприятностей»), — и все это опять придавило меня.

Сейчас еду в Симеиз просить Копылова, чтобы посмотрел больную руку Изергина. Ночью прибой был громовый, а деревья стояли не шелохнувшись: мертвая зыбь.

**21/IX.** Вчера я видел странное заседание, которое было лежанием. Даже председатель лежал с колокольчиком, причем он был крепко привязан к кровати, а к подбородку был прикреплен довольно тяжелый мешочек.

Когда я вошел, заседание было в разгаре: итак, мы объявили соревнование со старшими на лучшую молчанку, на лучшую еду, на лучшее лежание. Такие-то и такие объявили себя ударниками и подписали бумагу: «Мы обязуемся спать за молчанкой, не жвачничать, не кричать, не портить вещи и книги, говорить правду, хорошо лежать».

Лежат под тентом на деревянных кроватках около полусотни детей — у них перед глазами теплое, доброе море, а за спиной Ай-Петри. Они горбаты, безноги, они по четыре года лежат привязанные к перилам кровати, у многих ноги в гипсе, у многих весь корпус, лежат — и не плачут, не скулят от тоски, а смеются во весь рот, читают, играют в мяч — и вот митингуют.

Ляля, соседка Муры, самая печальная девочка во всем павильоне. Она, говорят, обреченная и, кажется, знает это. Глаза у нее большие, с узким разрезом, прекрасные. Мура любит ее горячо — потому что может ее жалеть. Вчера мы предложили перевести Муру в другой павильон, она не захотела, так уже привязалась к Марине и Ляле.

**24 сентября.** Я расспрашивал Изергина о его прошлом. Он охотно изложил свою историю. Приехал он в санаторий 1 марта 1906 года. Были только два корпуса — теперешний корпус Крупской, да Семашко № 1 — и часть Изергинского. Все постройки были созданы на деньги богатых благотворителей-москвичей. Всех детей было 50. Проф. Бобров к тому времени умер (1904). Учреждение было благотворительное.

При Изергине были построены Семашко № 2, расширен Изергинский корпус, оборудована новая кухня, морская веранда (в 1913 году). В 1927 году, тотчас же после землетрясения, начат постройкой корпус «X-летие Октября» — антисейсмический. Из фанеры, без печей. Максимум наполнения теперь 340 детей. В прошлом году 280. До революции было 160 человек. В первое время после революции 46. Санатория не закрывалась ни на один час. Изергина переводили в Евпаторию, в Славянск — он оставался верен своей Алушке. В голодные годы не голодали — он обеспечил санаторию мылом, сахаром, маслом, какао, сгущенным американским мясным бульоном. 2 года было очень тяжело. Потом пришел на выручку Курупр. Солдаты с фронта присылали ему деньги: «Мы узнали, что вам худо живется, посылаем вам 100 рублей». Еще до войны он отдал на свою санаторию 120 тысяч золотом собственных денег.



Пока ходили царские деньги, отдавал свои. Севастопольский Совдеп прислал в санаторию своего представителя и 1000 р. керенок. Ни дети, ни сотрудники не голодали. Конечно все это можно было пережить только благодаря кадрам преданных делу сотрудников. Конечно, когда времена изменились, эти самые сотрудники объявили, что Изергин вор, протекционист, контрабандист и проч. Одна жена офицера, которую Изергин легализировал, устроив в своей санатории в качестве няни, провел через союз — и тем спас от голодной смерти, — объявила на чистке, что он враг советской власти и пр.

27/IX. Прошла гроза. Воздух ясен. Алупка словно умытая. Вчера был у детей в Симеизе. Восторг. Обнимали меня, угостили, надарили мне открыток. И требовали сказок. Еще, еще! Мурочки не видал: удушила корректура Николая Успенского.

В Костной — чистка. Причем за Изергина взяли вплотную: «почему он не любит советскую власть?!» «Почему он вставил портреты вождей в те же рамы, где были портреты царей, причем царские портреты не были вынуты из рам, а только прикрыты папиросной бумагой?» Последний поступок действительно дик. На днях я беседовал с ним. Он показался мне стопроцентным советским работником — хотя, конечно, на политические темы мы не разговаривали. Рассказывал историю санатории.

Во время землетрясения санаторий почти не пострадал, обвалилась штукатурка в палате, где было 20 с лишком детей. И только благодаря тому, что кровати были далеко от стены, штукатурка упала мимо кроватей. Педагогический персонал вел себя с большой находчивостью. Боткина-Зеленская, напр., когда ходячие дети в павильоне Крупской («Крупчата») в панике завизжали от ужаса, увидев шатающиеся трубы на крыше, сказала: «Смотрите, как интересно! Трубы хотят спрыгнуть с крыш...» (Эту Зеленскую потом вычистили, забыв, что она племянница Сергея Боткина и Василия Боткина). Бобров хотел устроить «ванну среди моря», то есть у берега сделать два углубления, но буря эту ванну засыпала; Изергин сделал водокачку и морской бассейн в 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тысяч ведер. Ставка Изергина на чистый воздух. «Мы пропагандируем новый тип построек и лечение на свежем воздухе всех типов туберкулеза — и в этом отношении имеем последователей... и Евпатория, и Геленджик, и даже Н. Новгород воспользовались нашим примером. Ни сквозняков, ни простуд мы не знаем. Персонал забнет, дети — никогда. Ни рентгеновских пластинок нет теперь, ни иностранной

литературы. До 1915 года получали. Прежде я хотел устроить на близлежащих камнях поплавок и лифт, но война помешала. Я не пришел в санаторий с готовыми идеями. — Напротив я был невежественным человеком из Московского губернского земства. Резал направо и налево, ортопедией не занимался. Перед приездом сюда побыл у Турнера — и только. До всего доходил своим умом и потом узнавал, что все это современно. Проф. Бобров надеялся на операции; но надежды его не оправдались. Потом он убедился, что консервативный способ самый лучший».

**30. IX.** Третьего дня утром мы с М. Б. поехали пароходиком к Ценскому, которого не видели 17 лет. К сожалению, у нее началась в дороге морская болезнь, и она в Ялте вышла, а я поехал дальше. В Ялте мы посетили Ванду Станиславовну, которая в чепчике, в постели, и возле нее Мих. Чехов, 66-летний старик, которого я сразу почему-то невзлюбил — за то, что он загримирован Антоном. Похож до противности — и тем сильнее подчеркнута разница. Он рассказал, что начальство требует, чтобы сняли из комнаты Антона Павловича икону, а между тем икона вошла в инвентарь... и т. д. Сказал, что скоро умрет. Что в «Academia» его воспоминания.

«Заря» или «Зарница» — катер новый, пущенный лишь в прошлом году теплоход. Перед нами потянулись «Партениты», «Кучук Ламбары», «Гурзуфы» — однообразный разнообразный пейзаж, пляжи, усеянные медно-красными телами, скалы в море, аллеи кипарисов. Толпа ахает по всякому поводу, жадно, по-молодому впитывает впечатления, а я почему-то по-стариковски равнодушен к новизне. Даже не пересел, чтобы увидеть Чатырдаг и Алушту. Гора Касталь... Алушта великолепно описана Ценским в «Вале». Жидкий парк. Грязноватый пляж. Казенное белое здание на берегу в стиле Александра III — будто ленинградское. «Извозчик, к Ценскому!» — «5 рублей!» Встретились две гречанки — швея и подавальщица в столовой. Жизнерадостные, повели меня к Ценскому горной тропой влево, вверх — такие же добрые, как вся эта мягкая и добрая местность. Особенно очаровал меня вид хребта, который идет к Судаку, — пологий, голубой. Где же Ценский? За Манюшкинской дачей. — Только вы не бойтесь к нему идти? — спрашивали гречанки. — Он никого к себе не пускает. — Почему? — Он какой-то странный. — Мы его жену знаем, а его даже боимся немного. — Ценский старше меня на 4 года, но кажется лет на 10 моложе.